Рассадин Станислав 11.06.93

123

Станислав Рассадин

Дон Кихот соглашается

СОВЕРШЕННО ВОЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ФЕСТИВАЛЕМ БАЛЕТА И МУЗЫКИ В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

ЗНАМЕНИТАЯ эмигрантка Нина Берберова однажды заметила, что в государствах реакционных... Нет, это еще не про нас, не о нашем прошлом, это, по ее мнению, чересчур для нас хорошо... Словом, там власть приказывает художнику: «Не делай того-то». А в государстве тоталитарном (вот они мы!) требование покруче: «Делай только то-то. И только так-то».

Помню, четкая эта формула вызвала у меня соображение, которое лишь сперва показалось странным. Выходит, подумал я, многие, например, из пишущей братии словно бы жили — да и живут — в разных государствах. Скажем, покойный Кочетов, едва ли не указывавший в своих романах органам КГБ, кого надо бы взять в первую голову, или здравствующий Проханов, сладострастно воспевший афганский стыд, — они верные подданные именно тоталитарного государства. А предположим, я, писавший сугубо недозволенное разве что в стол, то есть косвенно следовавший первому из запретов «не делай того-то»,— я, получается, отгородил для себя в царстве тоталитаризма «всего лишь» реакционный закуток. Если так, то понимать ли, что отчаянно пускавшиеся в стихию самиздата, отнюдь не таившие от властей свое мнение о коммунистическом строе, жили в области независимости и свободы? Что ж, можно сказать и так, хотя... Дело, впрочем, не в оговорках. Как бы то ни было, где, при каких законах соглашаемся жить, зависит и от нас. Всегда. В диких условиях нашего дикого рынка — тоже.

ТАК ВОТ. Глядя на сцену и на лица людей, сидевших вокруг меня 10 мая в концертном зале «Россия» на открытии фестиваля искусств, что я наблюдал? Праздник? Изъявление любви и признательности великому танцовщику?.. Да, да, разумеется, но еще и **нормальную** жизнь искусства, **нормальное** его восприятие, меньше всего вызывающие желание делать то, что мы умеем делать поистине как никто в мире. То есть кидаться от истерики отчаяния в истерику экстаза: дескать, ах, Боже мой, этакий-то концерт, этакое чудо — в то самое время, когда страна на краю пропасти (который, замечу в скобках, все время таинственно отодвигается, будто пугаясь нашего кликушества)... В то время как — всюду нищие... нувориши... Зорькин и Хасбулатов... съезд... референдум... и черт знает что еще.

Вообще-то — куда от этого вовсе денешься? И вот зал словно очнулся и вздрогнул, услышав из уст артиста Адоскина блоковское: «Мы — дети страшных лет России... В сердцах, восторженных когда-то, есть роковая пустота»; вздрогнул — и если зааплодировал, то, может, не только стихам и артисту, но откликаясь тому, что сейчас оставлено за порогом и поджидает нас там, едва отпразднуем. Но, говорю, искусство в тот вечер жило нормальной своей жизнью — потому и нормальной, что только своей, не вопреки, не назло, не в ожесточенной полемике с действительностью. Жило, как ни в чем не бывало, и, ревниво оглядывая зал, я вдруг подумал: как же давно не видал вместе, разом столько хороших и... Опять, не стыдясь настырности, готов повторить: и нормальных лиц.

А, собственно, как давно? С каких пор? И понимаю, возможно, кого-то даже шокировав своей политизированной памятью: с августовских дней 91-го. С тех самых, что сплотили вокруг Белого дома словно бы все лучшие лица Москвы, в будничной злой толкотне растворенные до неузнаваемости. Так что, помнится, становилось страшно: если б войска подчинились путчистам, если бы все эти люди были в тот миг уничтожены (а это, что бы потом ни твердили, могло стать ужасной реальностью, окажись негодяи порасторопней), страна была бы жестоко, надолго отброшена вспять. Как Сталин отбросил Польшу, притормозив наступление наших войск и дав фашистам возможность уничтожить в восставшей Варшаве цвет польской молодежи...

Ладно, отмахнемся от воспоминаний. Не о тех днях ведем речь. И **эти** лица — другие, другим одухотворены, другим собраны, вернее, отобраны. Они, если уж эксплуатировать Нину Берберову, как раз и есть обитатели государства свободы; не не-зависимости, где частица «не» всего только отрицает, а сквозь нее незабыто просвечивает то, что приходится отрицать, но — свободы. Той, что непрагматична и вполне самоцельна. Самодостаточна. Да что там — произнесу и опасное слово: элитарна.

Благодарно учтем: фестиваль — акция благотворительная, и собранные им средства пойдут ветеранам сцены. Осознáем и вот что: в то самое время, когда... Ну тут, вероятно, положен ритуальный вздох о деятелях искусства, которые кто навсегда, кто на тяжелое время делает ручкой горячо любимой Отчизне; считайте, что я и вздохнул, оставивши при себе потайные мысли на этот счет... Короче: в эти-то новые и по-новому страшные дни России фестиваль, напротив, позвал и привлек из-за рубежа столько наших и «ихних». Хвала! Вообще говоря, наверное, только само творческое объединение «Дом Вивальди» и пуще многих Светлана Безродная, фестивалем руководившая, знают, чего это им стоило, каких спонсорских денег, каких собственных сил, но я-то все о своем. Мне дороже всего, что нам с вами они дали возможность забыть о цене (после на лестнице вспомним и потрясемся), не чуять запаха трудового пота.

«И было мукою для них, что людям музыкой казалось», — эти строчки Иннокентия Анненского тоже прозвучали на открытии фестиваля. «Для них»— о, без сомнения. Но мýка уходит, остается музыка.

КАК догадался читатель, я не рассказываю о самом фестивале, я хочу лишь понять, мелькнет ли это нерядовое событие одноразовым исключением средь нашей культурной жизни, небогатой подобным, или оно симптом чего-то... А ежели так, то — чего?

Обдумаем.

Футурошок — панически засновало по страницам газет слово-термин, внезапно ставшее модным. Так четверть века назад американец Олвин Тофлер определил, предсказав болезнь человечества на рубеже веков: шок от будущего, вдруг ставшего настоящим, потерю устойчивости, смену ценностей и ориентиров, ощущение исторической неприкаянности. В общем, пугаем себя еще и глобальным стрессом, будто нам мало домашних, — а впрочем, с самонадеянностью, не покидающей нас и в отчаянии, как раз домашние-то и возводим в глобальный масштаб, упирая в придачу на их временнýю, сегодняшнюю уникальность. Совсем как зощенковский самолюбивый больной, уверяющий, будто такого рака, как у него, нет и не было во всем мире. Но — дудки. А это вам — не те же, что нынче, потери и смены? Не сам пресловутый футурошок, даром что приключился много раньше появления на свет автора термина?

Припомните, о други,
с той поры,
Когда наш круг судьбы
соединили,
Чему, чему свидетели
мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные
народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы,
то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

Естественно, Пушкин, и давность диагноза хоть не излечит болезни, но объяснит: не вы первые. Как и не последние, увы. Больше того, а может быть, та беда, в которой оказалось наше нынешнее искусство, вдруг даже она... Нет, конечно, не выговоришь: к добру, предварительно не превратившись в ханжу, потому выражусь осторожно. Словом, эта очевиднейшая беда, эта свалившаяся на нас беспризорность — вдруг они, коль уж стряслись, небесполезны посвоему? И могут дать искусству возможность трезвого самопознания?

Говорю покуда о том, что мне профессионально ближе: о словесности, мгновенно оставшейся без прилежного друга-читателя и испытавшей к нему обиду — вроде как бы к изменнику. В самом деле. Еще недавно гордились, считая гордость законной: «самая читающая страна», «лучший в мире читатель», не заботясь проверить обоснование гордости. А если основания даже и были, хотя и они небезупречны (ибо забывали себя спросить: читатель **чего!**), то не думали, не хотели думать, что лучший в мире бежал в книги не от уникальной духовности, а от бедности жизни, от отсутствия быта, от неимения выбора, на что тратить досуг. Так что не Пушкину и Достоевскому он изменяет нынче с Чейзом, а главным образом Пикулю и Проскурину; пушкинолюбы и достоевскофилы никуда не откочевали, они, которых никогда не было слишком много, просто выделились, высветились в читающей что попало толпе. Стали так же заметны, как тот самый зал на открытии фестиваля.

И, честное слово, одно только разоблачение этой — глупейшей — иллюзии дорогого стоит.

Одиночество и сиротство, ныне испытанные многими из деятелей искусства, хоть бы и теми же писателями, — чувства, что говорить, пренеприятные, не дающие тем не менее прав на истерику. Каковая, смею сказать, просто непрофессиональна. «Ах, сегодня не до литературы! Зачем писать? Кому это нужно?» — чаще всего тут звучит не действительная растерянность художника, не обходящегося без совестливых сомнений в собственной нужности, а привычка быть деталью введенного в гранитные берега процесса. И — измена своему древнему делу, которое нельзя бросать ни в унынии, ни даже... Вот — вовсе не торопясь соглашаться с Корнеем Ивановичем Чуковским, вспомню, как старый мастер заносил в дневник упрек не кому-нибудь, а, неловко выговорить, тем из даровитых коллег, кто уходил из профессии в диссидентство, выбирая борьбу и репрессии: «Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда слово интеллигент стало словом ругательным (забавно, что в точности, как и в наши странные дни.—**Ст. Р.**)— важно оставаться в рядах интеллигенции, а не уходить из ее рядов — в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь для повседневного интеллигентского дела».

Оспорьте Чуковского — ради Бога! Но каково предпочтение, отданное непрерывному, «повседневному», своему, ничьему более делу — даже перед героикой, в которой свой суровый отбор, но не тот, который производит искусство...

ВПРОЧЕМ, среди возражений Чуковскому (или мне) предвижу такое, которое не сумею отбить. Ты все, скажут мне, о писателях, о литературе, где в крайнем случае можно писать в стол, лелея надежду, порой не напрасную, что когда-то, ужо издадут и прочтут. А допустим, театр? Не говорим уж о том, что нужно тебе — ну бумага, перо, ну машинка, все укупаемо, — но у артиста и надежд таких быть не может. Невостребованный сегодня гениальный актер или музыкант — проигранная судьба, сгинувшая гениальность. И что тут действительно скажешь? Но и промолчав, упрямо подумаю: наша эпоха принесла не только трагедию для писателей и артистов, но и возможность, не воспользоваться которой — грех. Осознать свое одиночество или хотя бы, кому повезет, лишь его соседствующую опасность, сиротство без избаловавшего нас массового читателя, без зрительских толп, заполнявших залы в годы театрального бума, — это значит, помимо прочего, осознать и достоинство искусства, изрядно утраченное — не всеми, не всеми — в пору обеспеченного успеха. Того, что рождает самодовольство. Увидеть разверзшуюся под ногами пропасть — значит, расплатиться за время, когда искусство и только искусство было отдушиной, было полем для политических схваток. Что делать? Десятилетия, даже века его триумфов и бумов непременно существовали за счет чего-то, и, скажем, самые лестные определения, традиционно дававшиеся российскому театру: «храм» и «парламент» (последнее словцо герценовское), означали и непреходящую беду России. То, что парламента у нас не было отродясь, а Храм Божий находился под жестким присмотром государства.

Другое дело, что возмездие пало совсем не на тех, кто его заслужил, но разве бывает иначе? Возмездие всегда запаздывает, всегда, запоздав, лупит не по той мишени, но, перманентно рискуя выглядеть розовым идиотом, маниакально ищущим смысл в бессмыслице, а удачу в куче сплошных невезений, вспомню цитаты из двух дневников эпохи наших 30-х. Первая — запись Елены Сергеевны Булгаковой, передающая мнение одного из знакомых: «...Начинают заниматься литературой потому, что нет уже черной биржи. Считают литературное дело самым выгодным».

Любопытно, что почти тогда же, с опережением в несколько лет, делает свою запись — казалось, до страстности обнадеженную — Михаил Михайлович Пришвин:

«Литература, вероятно, начнется опять, когда заниматься ею будет совершенно невыгодно».

Очевидцу нашего культурного разора, читая первую из цитат, впору ностальгически улыбнуться: у них там литературное дело считалось выгодным. А у нас?.. Над второй саркастически усмехнемся: что ж, предсказание наполовину сбылось, «невыгодно» — вот оно, налицо, но где ж тогда признаки возрождения?

Но несомненное — несомненно. Былое осознание литературы (музыки, живописи, театра — в этом-то смысле различия нет) как занятия, приносящего выгоду взамен биржевой, предшествовало — как внешнему буму, официозно отмеченному россыпью орденов и конвейером Сталинских премий, так и постыдному нравственному краху, затяжному холопству. Перед властью или перед «лучшим в мире читателем» — это уже нюансы, пусть и существенные. Так, может, теперь, когда биржа, как и обязано быть, снова выгодней литературы, когда эти области и профессии больше не смешиваются, не стыкуются, или — или, может, все-таки доживем до подтверждения целостной правоты пришвинских слов?

Если да, то как раз потому, что смешение кончилось.

КОГДА-ТО мне разом попались на глаза два высказывания, прозаическое и стихотворное, больно столкнувшиеся в моем сознании.

Слова Анатолия Эфроса, который сетовал, как трудно работать с актрисами, не умеющими противостоять давлению быта: «Вот — женщина, а у нее лицо мужчины. Нельзя же так! Надо как-то сохраняться, надо что-то делать! У женщины должно быть лицо женщины».

И — стихи прекрасного поэта Марии Аввакумовой:

И вот идешь в наряде новом,
И дорогом, да бестолковом.
[У нас когда умели шить!]
Себе ты кажешься царицей.
Когда б ты знала,
что годится
обнова разве кур смешить.
Но, слава Богу, как
ни горько,
народ не озверел настолько,
чтоб это выказать тотчас...
И, простодушием богата,
гордясь собой, плывешь
куда-то.
И платья нового заплата
разъела все глаза у нас.

Конечно, я и тогда понимал, что глупо придираться к любимому режиссеру, которому надо ставить «про аристократов», а жизнь не предоставляет желанного материала. Понимал, что профессиональный призыв: «Надо... сохраняться», смягченный к тому же трогательно-беспомощным «как-то», не более, чем профессиональный. А все же задело: зачем «выказал» то, что так горько и оскорбительно знать замученным бытом актрисам?

Задевает и нынче, отчего понимаю даже и тех, кто, видя по телевидению праздники, конкурсы, фестивали, путает легкость искусства с легкостью существования, злится: мы нищаем, а эти отплясывают! Боль нужно видеть и понимать, даже когда больной ненавидит врача, его в ней и виня. Но сочетание «пир во время чумы» оказалось бессмысленно превращено в универсальное обвинение, и хочется огрызнуться: что ж, если вы не только больны, но мазохистски упиваетесь болезнью, нисколько с ней не борясь, значит, и всем прочим следует бросить свое, на радость рожденное дело и влиться в безвольно причитающую толпу?..

Искусство — не средство полемики, не оружие борьбы, то есть могут быть у него и такие наклонности, лишь бы попутные, еще лучше — непроизвольные; его задача и долг (если уж наша ментальность не может без этих строгих понятий) — быть самоценно и самоцельно красивым. И, преисполнясь уважением к благородным, благотворительным усилиям «Дома Вивальди», я все-таки радуюсь прежде всего тому, что они «сохранились», что «как-то» это у них получилось. Что все они **просто** прекрасны: Максимова и Васильев, Светлана Безродная с ее юным оркестром, дивный певец-сопрано Олег Рябец — и прочие, прочие (смотри афишку, а я и не обещал рецензии). Что искусство их... Да, элитарно. Еще раз произношу непопулярное слово, а добавлю совсем заклеванное-заплеванное: что оно — искусство для искусства.

Искусство демократично? Да. Элитарно? Конечно! И покуда оно искусство, а не нечто совсем другое, одно от другого неотделимо. Искусство в высшей степени демократично, ибо никому не возбраняется подняться до своего уровня, и оно же решительно элитарно, так как на этом пути производит отбор достойных. И оно, такое, необходимо всем — даже тем, кому не дó него, кому никогда до него дела не будет.

«Для жизни ты живешь», — восхитился и позавидовал Пушкин в стихах о вельможе Юсупове, счастливом владельце Архангельского (тогдашнем, как норовит съязвить язык, отравленный злободневностью). И он же повторил за своим другом Дельвигом: «цель поэзии — поэзия». Можем осмелиться и продлить цепь тавтологии: цель любви — любовь, цель свободы — свобода, чем подчеркнем их прекрасную самоценность, ту, что для нас так часто закрыта тем-то и тем-то. Искусство, рожденное, чтобы быть и оставаться искусством,—это и есть сама свобода, ее наиболее совершенное воплощение, а уж свобода нужна поистине всем. Опять же — в том числе тем, кто не знаком с ее вкусом, кого от него воротит.

Фестиваль в честь Владимира Васильева — урок свободы. Ничего лучшего, нежели это, сказать не могу.

А ЗАКОНЧИТЬ вдруг захотелось — сам не пойму, отчего, — так.

В сценарии Евгения Шварца «Дон Кихот», из которого режиссер Козинцев сделал плоский и скучный фильм, были символико-поэтические эпизоды, которые не решился вставить и сам сценарист. Например, как рыцарь ждет смерти.

«Он слышит разговор Росинанта и Серого. Разговор о нем. Росинант перечисляет, сколько раз в жизни он смертельно уставал. Осел говорит, что ему легче потому, что он не умеет считать. Он устал, как ему кажется, всего раз—и этот раз все продолжается».

Переписываю на машинке цитату и под клавишный стук начинаю понимать, чтó, какие такие причины невнятно принудили вспомнить именно это. И как не поймешь? Бодрись не бодрись, но, бывает, уж так подступит: **надоело...** Встряхнемся. Дальше:

«Оба с завистью начинают было говорить, что хозяин отдыхает. И вдруг ворон говорит: «Не отдыхает он. Умирает». И с тоской говорят они: «Да что там усталость. В конюшне — тоска». Оба вспоминают утро. Солнце на дороге. Горы. И Дон Кихот соглашается с ними».

Это, в общем, о бессмертии. И о нас, хоть сколько-нибудь глотнувших свободы.

Бог упаси от вульгарного перевода поэзии на язык нашей реальности, хоть мы и вправду, кажется, поняли (или поймем): «В конюшне — тоска». Говорю о другом. Бессмертие — слово, то отдающее высокопарностью, то пугающее таинственностью, но есть ведь и самый простой смысл. Если рояль сломать, музыка останется, говорил Толстой. Это не значит, что рояли нужно и можно ломать; это значит лишь то, что ломка, со зла ли она или по недоумию, а говоря без обиняков, все, что ставит художника в зависимость от власти или от бедности, что вмешательством извне отвлекает его от природной, внутренней, необходимой муки, голос которой он должен слышать, — все равно это тщетно. Музыка останется.

Спасибо мýке. И слава музыкé.